9 класс

1. Внимательно прочтите предложенную ниже подборку художественных текстов и их фрагментов.

- **М. Цветаева «Мой Пушкин» (фрагмент)**

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу – в слове *живот* для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.

– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернью.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, – я поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

<…>

Немножко позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в

Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что – любовь».

– Она наверное уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова[3], наша лучшая и старшая ученица, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном, – мать ругается:

– Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шести лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И

ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда – когда расставались. Никогда – когда садились, всегда – расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой – любви – прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

- **Д. Самойлов. Из детства**

Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег…»
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.

И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.

- **Д. Рубина «Маньяк Гуревич» (фрагмент)**

Время от времени папа выводил сына на «тематические», как говорил он, прогулки.

Доехав до станции «Невский проспект», они шли в сторону центра не по Невскому, а переулками среди старых домов, через дворики Капеллы, и, вынырнув оттуда, оказывались у входа на Дворцовую площадь. Это был не парадный, а боковой, с Мойки, заход на Дворцовую.

Здесь и начиналось: они шли в сторону Адмиралтейства, мимо Генерального штаба и Зимнего, выходили к Александровскому саду, а уж оттуда каждый раз шли в новом направлении. Папа читал отрывки из «Медного всадника» – то яростно, то с мольбой, то в ужасе плеща руками в сторону объекта, что возникал в пушкинской строфе.

«Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит божий гнев и казни ждёт.

Увы! всё гибнет: кров и пища!»…

У маленького Сени эти тематические прогулки рождали сразу два чувства: восторга и подавленности. Восторг, понятно, от красоты, со всех сторон его объявшей. Но страшные волны взбесившейся Невы… Как явственно он представлял этот рёв, и треск, и чёрный мрак грузного неба!

Зимняя Нева всегда выглядела угрожающе: массы снега перемещаются под сильным ветром, и кажется, что по Неве катят снежные волны. И застывала Нева не сразу, и лёд на ней не гладким был, а весь в ледяных торосах. Когда начинался ледоход, Нева несла огромные льдины из Ладожского озера… Нет. Нет! Сеня, будь его воля, гулял бы совсем по другим местам.

«Как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, – кричал папа, размахивая руками, не обращая внимания на оборачивающихся прохожих, – Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал».

Сеня плакал от сострадания к судьбе Евгения. Папа радовался и говорил, что эти слёзы – дань великой поэзии, слёзы очищения искусством. «Расти, ввысь расти!» – кричал папа…

Когда с одной из таких познавательных и очистительных прогулок Сеня вернулся зарёванным в хлам, мама устроила страшную головомойку «одному чокнутому пушкинисту», и тематические выходы в свет на время прекратились, а потом завертелась школьная жизнь и прочая каторга принудительного советского детства. Однако ходить мимо легендарного

памятника Петру Первому впечатлительный Гуревич так и не полюбил, каждый раз предпочитая сделать крюк.

<…>

У меня день рождения – 31 августа. Не знаю почему, но я очень этим гордился. Вот исполнилось мне семь лет, и на следующий день я уже в школе. Какой-то был тут несвойственный мне в остальном порядок. Кому-то приходится ждать еще чуть не полгода. Кому-то, наоборот, идти раньше времени. А у меня – вот положено идти в школу в семь лет, я и пошел. И почему-то мне казалось, что уже только поэтому у меня в школе всё будет хорошо. Не то, что в детском саду.

Помню первый день. Заходим мы с мамой в школу. Старинное такое большое здание на углу Кировского проспекта, ну, сейчас-то – Каменноостровского, и Скороходова.

Вестибюль. На входе – огромный бюст в человеческий рост. Ну, рост семилетнего человека. Весь – черный. Кудрявый. Я сначала подумал: Ленин. Потом присмотрелся – нет, не похож. Думаю, кто ж еще может быть? А мама говорит: «Ты будешь учиться в 69-й школе имени Александра Сергеевича Пушкина. Бывшем Царскосельском лицее».

Приехали. Я-то думал, что с Пушкиным покончено. Что он навсегда остался там, в детском саду. А он – вот он. В мой рост. И здесь за мной увязался.

И понял я, вот сразу как-то почувствовал, что ничего хорошего меня в этой школе не ждет. Спрашивается: зачем надо было отправлять меня в 69-ю, когда на одну остановку ближе, на Малой Монетной – 86-я школа, и там почти весь наш дом учится? Вот чего спрашивается мне лишнюю остановку плюхать? Ради Пушкина? Да мне его еще в детском саду хватило.

Бывший лицей – старинный четырёхэтажный особняк. Длиннющие коридоры. Лепка. Зеркала. На втором этаже – огромный актовый зал. А в фойе что-то типа музея. Ну, конечно, про Пушкина. Про кого же еще?

И вот в первый же день повели нас туда. Наша классная училка битый час: бу-бу-бу… бу-бу-бу… Стихи еще какие-то читала. Я думаю: это что ж, так все десять лет и будет? Вот чего меня в 86-ю не отдали?

Смотрю, на одной из витрин фотография: пистолеты такие старинные. Я, естественно, туда. А на что еще смотреть?

И тут училка:

– Мальчик, тебе что, про Пушкина не интересно?

Она даже наших фамилий тогда еще не знала.

Ну, я-то в детский сад все-таки не зря ходил. Кое-чему научился.

– Нет, – говорю, – интересно.

А эта свое:

– А мне кажется, что нет.

И потом уже ко всем:

– Страшно подумать, что кого-то может оставить равнодушным гибель поэта.

И на меня с укором так смотрит. И все тоже вслед за ней на меня уставились, как будто я самолично этого Пушкина пристрелил.

– Неужели, – спрашивает, – тебе совсем не жалко Пушкина?

– Нет, – говорю, – жалко.

Спасибо детскому саду.

Она головой покачала. Типа, не верю.

– Мне кажется, тебе следовало бы выбрать другую школу.

Да я это уже и сам понял.

- **М. Хейфец «Спасти камер-юнкера Пушкина» (фрагмент)**

Пушкина я возненавидел еще в детстве. Можно сказать, как-то сразу не заладилось. Еще с детского сада. Помню, сидим мы группой, воспиталка чего-то нам читает. Занудное такое, в стихах. Не помню, что уж я там сделал. Но только вдруг слышу:

– Питунин! Я, между прочим, к тебе обращаюсь!

Я аж вздрогнул.

– Питунин! Тебе что, не интересно?

Мне хоть и пять лет было, но уже понимал, что вопрос с подвохом. Сижу, молчу. А воспиталка не унимается.

– Питунин! Ты что, Пушкина не любишь?

Мне бы опять промолчать. А я возьми да и ляпни:

– Не люблю.

Пять лет. Дурак еще был. Откуда я знал, что не любить Пушкина нельзя. Это я уже потом узнал, что любимый поэт – Пушкин, композитор – Чайковский, ну, а художник, естественно, – Репин. Но тогда я еще этого не знал. Вот и ляпнул.

Воспиталка аж подскочила на месте.

– Питунин! Как ты можешь не любить Пушкина? Все любят, а ты… Пошел в угол! И про подъемный кран можешь забыть навсегда.

А вот это уже было серьезно.

Машинка эта, подъемный кран, была на весь детский сад одна. И из-за нее всё время возникали конфликты. Потому что всем хотелось в нее поиграть. Там было три таких маленьких ручки. Крутишь одну – стрела крана поворачивается. Крутишь другую – стрела поднимается или опускается. Крутишь третью – веревочка начинает наматываться или разматываться. И если на крючочек что-нибудь подцепить, то можно по-настоящему поднять какой-нибудь кубик. Или еще чего…

А если еще добавить звук… Например, при повороте делать так: «Д-жж-ж-ж-жж». А когда вверх-вниз, то «бр-р-р-р-р». А когда наматывается веревочка, то это уже «тук-тук-тук-тук»…

И чтобы мальчишки постоянно не дрались, у нас на эту машинку очередь была на месяц вперед расписана. И надо же – именно сегодня как раз должна была быть моя очередь. А я стою в углу!

Все уже Пушкиным насладились. Кто чем занимается. А Соловьев – его очередь, между прочим, только завтра – с подъемным краном специально, гад, напротив меня: «д-ж-ж-ж… бр-р-р-р»… Вверх-вниз… «Тук-тук-тук»… Это – груз пошел. Гад! Гад! Гад!

И так мне обидно стало, что я не выдержал и разревелся. Стою, слезы текут. А всем почему-то очень весело. Смеются. А Соловьев еще пуще: «Д-ж-ж-ж-ж… Бр-р-р-р»…

А воспиталка:

– Ну что, Питунин? В следующий раз будешь, как все, Пушкина слушать?

Ну и как я после этого должен был относиться к Пушкину? Вот убили его – и правильно сделали! Раньше еще надо было!

- **Д. Шеваров «Стихи и сушки»**

Между книжным шкафом и зеркалом когда-то дедушка повесил портрет Пушкина. Не знаю, когда было это когда-то. Мне кажется, что в моей комнате всегда был портрет Пушкина. И Пушкин всегда смотрел на каждого входящего в комнату своими спокойными глазами.

Откуда и как я понял, что на портрете изображен Пушкин? Мне этого не вспомнить. Знаю только, что имя Пушкина всегда звучало в доме как имя близкого человека. Указывая дедушке на какой-нибудь непорядок в доме, бабушка иногда сокрушенно говорила: “А это кто сделает — Пушкин?”

— Пушкин! — весело отзывался дедушка. А потом, взявшись за работу, читал мне свое любимое — про крестьянина на дровнях и лошадку, которая чует снег, но снег ее не радует, и она плетется рысью.

Постепенно разрозненные сведения о добром помощнике нашей семьи стали собираться в моей голове. Я знал, что у Пушкина есть няня, но нет родителей. Было понятно, почему он воспитывался в Лицее, — сирота.

Царь командует Пушкиным. Он его, как Суворова, посылает то на южный фронт, то на западный. Поэтому и называется — “ссылка”.

Пушкин, конечно же, возвращается с победой. Однажды Пушкин задержался. Декабристы решили не ждать Пушкина и без него справиться с царем. Без Пушкина у них ничего не получается. Они рубят одну царскую

голову, вместо нее вырастает вторая. И уже эта, новая, голова одних казнит, других милует, то есть отправляет пожить в Сибирь.

Пушкин возвращается слишком поздно, он жалеет декабристов и пишет им в Сибирь: мол, держитесь, оковы тяжкие падут, я тут чего-нибудь придумаю.

Жизнь у Пушкина интересная, но грустная. Он любил свободу, а царь ему свободы не давал и все следил за ним. Царь только и думал о том, как погубить Пушкина, он подослал к нему Дантеса...

Пушкин мне часто снился и всегда маленьким — моим ровесником. Как-то он принял образ моего соседа Мишки. Симпатичный черноглазый Мишка играл на скрипке, и мне снилось, что в футляре он носит стихи. А стихи были не рукописями, не бумажками, а ванильными сушками. И будто бы зимой мы сидим в кочегарке против открытой печи и грызем сушки. Вдруг за нашими спинами возникает кочегар Варлаам, нависает над нами медведем: “Ишь сушки кочегарят…” — “Не-е, мы не сушки… — лепечет Мишка, — мы стихи читаем. Хотите попробовать…”

Варлаам оглушительно хрумкает сушками. Тени от огня пляшут по стенам. “Ничего стишки…” — хохочет Варлаам. У нас лица горят, будто нам стыдно, что мы чужие, ворованные сушки-стихи едим. Так горячо щекам. Вдруг кто-то трогает мой лоб прохладной рукой, потом губами:

— Да ты заболел, дружок… Где вас носило?

Сквозь тяжелые веки узнаю бабушку.

— Да по Пушкинскому на санках я его катал, — слышу виноватый голос деда.

— Ну вот и приморозил мальчонку. Погляди, какой горячий…

Я лежал на дедушкиной кровати. Мне виделось, как дедушка везет меня сквозь снег и я низко опускаю голову, чтобы острая снежура не колола глаза. По бульвару, по бульвару… Снег валит, и дедушкина спина теряется в снегу.

Опираясь на предложенные вопросы, создайте целостный аналитический текст, интерпретирующий прочитанное:

- Чем, по Вашему мнению, обоснована логика выбора текстов? Что связывает их?
- Как проявляют себя взрослые в описанных ситуациях?
- Каким предстает в них маленький реципиент*?
- В чем особенности восприятия Пушкина и его творчества взрослыми и детьми?

- С чем связаны эмоции детей, их ошибки и прозрения?
- Как связан образ рассказчика (повествователя) с описанной им ситуацией и ее восприятием читателем?

2. Создайте небольшой художественный текст о Вашей собственной детской встрече с Пушкиным. Придумайте креативное название. Постарайтесь быть увлекательным и убедительным.

! Объем обоих текстов определяется лишь задачей наиболее глубокого раскрытия смысла.

*Реципиент – человек, воспринимающий внешние «сигналы», речь, текст, получающий информацию.